



Город, который мы сожгли

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Город, который мы сожгли

«Автор»

2026

Патрушев С.

Город, который мы сожгли / С. Патрушев — «Автор», 2026

Двенадцать лет назад Кай и Арон, друзья детства, нажали кнопку. Город, ставший эпицентром эпидемии загадочного "Пепла" - болезни, сжигающей людей изнутри, превратился в братскую могилу на триста тысяч душ. Кай стёр себе память. Арон - лицо. Один стал чистильщиком Зоны, второй - смотрителем Архива погибших воспоминаний. Кай возвращается в мёртвый город по госзаказу: найти легендарное «Сердце» - реактор, который всё ещё пульсирует под руинами, но чем ближе он к цели, тем яростнее проступает забытое прошлое. Встреча с Линой - девочкой, рождённой в день Катастрофы и носящей на коже шрамы "Пепла" - запускает обратный отсчёт. Старые друзья сойдутся в сердце реактора, где правда окажется страшнее лжи. Им придётся решить: уничтожить улики и умереть или взорвать мир правдой, которую никто не готов услышать. Город сожгли, чтобы остановить заразу, но пламя вины не гаснет. Мрачная постапокалиптическая драма о дружбе, искуплении и цене, которую платят живые за право помнить.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Точка ноль»	5
Г	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Город, который мы сожгли

Глава 1. «Точка ноль»

Воздух здесь был неподвижен и сух, как в древней гробнице, которую никогда не тревожили ни ветер, ни дождь, ни дыхание живых существ. Даже спустя двенадцать лет он пах не гарью — гарь давно выдохлась, вымерзла в первую же зиму, когда температура упала до минус сорока, выветрилась сквозь бесчисленные трещины в спекшейся, остекленевшей от жара земле, — а чем-то гораздо более глухим и вечным. В этом воздухе смешались запахи толчёного кирпича, превратившегося за десятилетие в мелкодисперсную пыль, которая оседала на языке металлической горечью; ржавчины, разъевшей арматуру небоскрёбов до состояния ажурных кружев; размолотой в муку извести, когда-то бывшей стенами квартир, офисов, школ; и того особенного, ни на что не похожего запаха радиационного распада, который нельзя спутать ни с одним другим запахом в мире. Это была смесь озона после грозы и сладковатого тления — запах, который въедался в костюм, в волосы, в саму душу, если душа у чистильщика ещё оставалась.

Кай остановился у восточного шлюза — того самого, что сапёры расчистили только в прошлом году, проложив узкий, извилистый коридор в оплавленном, застывшем волнами бетоне, — и медленно, очень медленно выдохнул, позволяя маске респиратора собрать капли влаги из его дыхания. Влажность была единственным биологическим показателем, за которым ещё стоило следить на этом этапе: если респиратор оставался сухим, значит, лёгкие уже начинало сжигать что-то, чему там категорически не положено было находиться, — радиоактивная пыль или, хуже того, летучие изотопы, проникающие сквозь фильтры, как вода сквозь песок. Он проверил крепления костюма, привычным движением проведя ладонями по грудным пластинам, плечам, бёдрам, — этот ритуал он выполнял тысячи раз перед входами в мёртвые города, и каждый раз пальцы двигались сами собой, словно принадлежали не ему, а какому-то отдельному, более компетентному существу, живущему своей жизнью внутри его тела.

Он вошёл в Город в шестом часу утра, когда солнце только начинало подниматься над восточными секторами — над тем, что когда-то называлось промышленной зоной, а теперь представляло собой бескрайнее поле шлака и скрученных металлических балок, — и лучи его ложились на руины так, как ложатся они на мёртвое, высохшее дно древнего океана: косо, длинно, равнодушно, не обещая ни тепла, ни надежды, ни вообще чего бы то ни было. Давно уже никто в мире не называл это место иначе как Зона Отчуждения — эти слова печатались на картах, произносились в сводках новостей, фигурировали в отчётах, — но Кай помнил, как оно называлось раньше, и это знание сидело в нём занозой, которую он давно перестал пытаться вытащить, потому что за годы понял: заноза вросла слишком глубоко, и, если её извлечь, вместе с ней выйдет слишком много крови, может быть, вся.

У него был приказ. Стандартная папка с синей полосой по диагонали — такие папки в их ведомстве означали «объект государственной важности», и за двенадцать лет работы Кай получал их всего трижды. Первый раз — когда нужно было проникнуть в бункер Министерства обороны под Новореченском и извлечь протоколы запуска; второй — когда требовалось подтвердить наличие работающего реактора на дне высохшего водохранилища в Восточной провинции; и вот теперь третий. В приказе значилось коротко и сухо, как всегда у военных: проникнуть в административный центр, бывшее здание муниципалитета, преодолеть завалы,

найти доступ к подземным уровням и зафиксировать наличие либо отсутствие объекта под кодовым названием «Сердце Города». Легендарного генератора, о котором в среде чистильщиков, шахтёров, перекупщиков и прочего приграничного сброда ходило больше слухов, чем о любой другой технологии Старого мира. Шахтёры с восточных рубежей клялись, что слышали его низкий, утробный гул по ночам — гул, от которого вибрировала земля под ногами и лошади в загонах начинали беспокойно всхрапывать. Перекупщики на чёрном рынке время от времени выкладывали размытые, дёрганные снимки с тепловыми сигнатурами, уходящими глубоко под фундамент муниципалитета, — оранжево-красные пятна на чёрном фоне, пульсирующие, как больное сердце. Но до сих пор ни один чистильщик, посланный в центр Города, не добрался до объекта и не вернулся обратно. Некоторые просто исчезали — переставали выходить на связь, и спутник фиксировал последний сигнал их регистраторов где-нибудь на подходах к центру, после чего наступала тишина. Других находили — точнее, находили то, что от них оставалось, — но эти случаи были ещё хуже, потому что останки выглядели так, словно люди умирали не от радиации и не от обрушений, а от чего-то иного, чему военные медики так и не смогли дать внятного объяснения.

Кай считался лучшим из тех, кто ещё работал по эту сторону кордона, — а работали по эту сторону немногие, потому что платили, конечно, хорошо, но деньги имеют ценность только для живых, а шансы остаться в живых после пяти-шести глубоких рейдов падали до величин, которые статистики называли «пренебрежимо малыми». Ему было тридцать четыре года, и он выглядел на свои годы ровно настолько, чтобы не вызывать лишних вопросов: высокий, сухой, поджарый, как человек, чей организм привык расходовать калории с предельной эффективностью и ничего не запасать впрок. Волосы его, когда-то тёмные, выцвели от постоянного ношения защитного шлема и воздействия фонового излучения до неопределённого серовато-пепельного оттенка, а глаза — светло-серые, почти бесцветные — приобрели то особенное выражение, которое бывает только у людей, слишком долго смотревших на вещи, которые не следует видеть никому. Он носил стандартную броню чистильщика четвёртого поколения — многослойный композит на основе керамики и обеднённого урана, усиленный свинцовыми вставками на груди, в паху и вокруг щитовидной железы, — и двигался с той экономной, плавной, почти ленивой точностью, которая приходит только после десяти лет работы в полях смерти, где каждое лишнее движение стоит калорий, а калории — это время, а время — это накопленная доза, а доза — это смерть, отсроченная на дни, месяцы или годы, но всегда неизбежная, как восход солнца над мёртвым горизонтом. На спине у него висел дозиметр-регистратор — тяжёлый, опечатанный пломбами армейский прибор, который каждые пятнадцать минут отправлял зашифрованный сигнал на спутник: объект жив, движется по маршруту, уровень накопленной дозы в пределах допустимого, температура тела в норме, пульс стабилен. Если сигнал пропадал — если пульс замирал, или температура падала, или доза переваливала через критический порог, — никто не приходил. Никто и никогда. Так было заведено с самого начала, с первых дней существования корпуса чистильщиков, и Кай ни разу, ни на секунду не усомнился в правильности этого порядка: рисковать живыми ради мёртвых было глупо, рисковать живыми ради умирающих — ещё глупее, а рисковать живыми ради мёртвых городов — глупее всего. Они делали свою работу и получали за это плату. Всё остальное было лишним.

Он миновал первый квартал — вернее, то, что картографы обозначали как первый квартал на довоенных схемах, хотя от самого квартала остались только призраки стен, — стараясь не смотреть по сторонам, но взгляд сам собой цеплялся за то, что лежало вокруг, и Кай давно уже перестал с этим бороться. Он знал, что зрение будет фиксировать детали независимо от его воли, и единственное, чему он научился за годы, — это не позволять этим деталям проникать глубже сетчатки, не впускать их туда, где они могли бы превратиться в воспоминания. Потому

что воспоминания имели свойство накапливаться, наслаиваться друг на друга, и в какой-то момент их совокупная масса становилась невыносимой — он видел это у других чистильщиков, тех, кто уходил в отставку и через год-два спивался, или стрелялся, или просто ложился лицом к стене и переставал реагировать на внешние раздражители. Кай не хотел такой судьбы — или, может быть, хотел, но не признавался себе в этом, — и поэтому выработал особый способ смотреть на вещи: расфокусированно, боковым зрением, как смотрят на слишком яркий источник света, чтобы не ослепнуть.

Но даже сквозь эту расфокусировку он видел достаточно. Улица, по которой он шёл, когда-то была одной из главных магистралей Города — широкий проспект, обсаженный липами, с трамвайными путями посередине и тротуарами, выложенными серой гранитной плиткой. Теперь липы превратились в чёрные, обугленные столбы, похожие на гигантские спички, которые кто-то зажёл и бросил догорать. Трамвайные рельсы оплавилась и застыли причудливыми волнами, кое-где провалившись в трещины, кое-где вздыбившись, как металлические змеи, застигнутые врасплох и окаменевшие в агонии. Гранитная плитка пошла трещинами, и из этих трещин пробивалась какая-то неестественно яркая, почти фосфоресцирующая трава — мутировавшая, разумеется, как и всё живое в Зоне, но удивительно живучая, цепкая, способная расти на голом камне и, кажется, на чистой радиации. Кай не был биологом и не знал, какие именно мутации произошли в геноме этой травы, но что-то в её ярко-зелёном, почти кислотном цвете вызывало у него глухое, иррациональное беспокойство — такое же, какое вызывает у нормального человека вид паука с лишней парой конечностей.

Он перешагивал через оплавленные куски арматуры, торчащие из бетонных обломков, как кости из разложившегося трупа, обходил воронки, заполненные стоячей, маслянисто поблёскивающей водой, и отмечал про себя ориентиры, сверяясь с картой на планшете — защищённом от электромагнитных помех армейском устройстве в утолщённом корпусе. Карта была старой, довоенной, загруженной в память планшета ещё на базе, и улицы на ней носили имена, которые больше никто и никогда не произносил вслух: проспект Строителей, улица Академика Королёва, бульвар Мира. Будучи ребёнком, Кай жил на улице Цветочной в южном районе, и название это казалось ему тогда совершенно обыденным, но теперь, глядя на мёртвые руины вокруг, он думал о том, сколько же должно было пройти времени, чтобы улица Цветочная вновь хоть отдалённо стала соответствовать своему имени. Может быть, сто лет. Может быть, двести. Может быть, никогда. Он выключил звук планшета — тишина здесь была слишком плотной, слишком материальной, чтобы нарушать её искусственными сигналами, — и двинулся дальше, на запад, в направлении центра, где возвышались (или, точнее, когда-то возвышались) административные здания.

Тишина в Городе была особая. Кай замечал это в каждом мёртвом городе, но здесь она достигала какой-то почти запредельной, абсолютной концентрации. Это была не просто тишина отсутствия звуков — такую тишину можно найти в пустыне или высоко в горах, — это была тишина отсутствия жизни как таковой. В обычном лесу, даже самом глухом, всегда есть звуки: ветер в кронах, жужжание насекомых, птичьи крики, шорох мелких животных в подлеске. Здесь не было ничего. Ветер дул, но звука не производил — он проходил сквозь руины, как сквозь вату, не задевая, не цепляясь, не создавая турбулентности. Птиц не было — они покинули эти места в первые же дни и с тех пор не возвращались. Даже насекомые, эти вездесущие и неистребимые спутники человека, обходили Зону стороной — не все, конечно, но большинство. Единственным звуком, который сопровождал Кая на всём протяжении пути, был хруст его собственных шагов по битому стеклу и бетонной крошке, да ещё писк дозиметра, который он старался не замечать. И эта тишина действовала на нервы гораздо сильнее, чем

любой мыслимый шум. В шуме можно было раствориться, укрыться за ним, как за занавесой. Тишина же обнажала всё — каждую мысль, каждое воспоминание, каждый страх, — и прятаться в ней было негде.

Через час пути его дозиметр пискнул дважды — условный сигнал, означавший, что радиационный фон начал расти, перевалив за отметку в двести пятьдесят миллирентген в час. Он ожидал этого. По мере приближения к эпицентру радиация должна была уплотняться, как воздух перед грозой, — он знал это и по картам, и по опыту, — и Кай заранее принял таблетку йодида калия из стандартной аптечки, запив глотком тёплой, отдающей металлом воды из фляги. Вода всегда отдавала металлом после третьего-четвёртого часа в Зоне — то ли из-за самой фляги, то ли из-за того, что радиоактивные частицы каким-то образом проникали сквозь фильтры, несмотря на все заверения производителей. Он не знал точно и не хотел знать. Он просто пил эту воду, потому что нужно было поддерживать водный баланс, а брать с собой больше трёх литров было непрактично — каждый лишний килограмм веса сокращал время автономной работы и увеличивал расход сил. Чистильщик всегда балансирует на грани: взять достаточно, чтобы выжить, но не настолько много, чтобы это «достаточно» убило его раньше, чем радиация.

Он остановился на перекрёстке, где когда-то, судя по полукруглой чаше из растрескавшегося бетона, располагался городской фонтан. Сейчас чаша была пуста и забита серым, мелким, как мука, пеплом, который ветер десятилетиями сносил сюда с окрестных руин. Кай посмотрел на юг. В трёх километрах в том направлении — он знал это точно, потому что память на расстояния у него была почти фотографическая, — должно было находиться то, что осталось от его старого района. От улицы Цветочной, от пятиэтажного кирпичного дома с покосившимся козырьком подъезда, от квартиры на втором этаже, где прошло его детство. Он не планировал заходить туда — маршрут лежал строго по прямой, на запад, к административному центру, и времени было в обрез, а отклонение даже на полкилометра могло стоить ему нескольких лишних рентген, — но ноги сами собой замедлили шаг, а потом и вовсе остановились, словно наткнувшись на невидимую стену. Он стоял на перекрёстке и смотрел на юг, и внутри у него не было ничего из того, что, по мнению психологов из ведомственного медцентра, он должен был бы чувствовать в такой момент. Ни печали, ни страха, ни ностальгии, ни даже обычного человеческого любопытства. Только глухое, почти механическое ощущение несоответствия — словно в хорошо отлаженном, годами калиброванном механизме на одно короткое мгновение сбился ритм, пропустив долю такта.

Он не помнил последних часов перед Катастрофой. Совсем. Ни единой секунды. Психика выжгла эти воспоминания так же чисто и безжалостно, как пламя выжгло сам Город, оставив только чёрный, бездонный провал длиной примерно в сутки — может быть, двадцать часов, может быть, тридцать, он не знал точно, да и не пытался узнать. Кай знал факты — голые, сухие, как строки полицейского протокола, — потому что факты ему сообщили позже, на допросах и в ходе расследования. Ему было двадцать два года. Они с Ароном что-то сделали — что именно, так и не удалось установить, потому что все приборы в радиусе пяти километров вышли из строя, а записи с камер наблюдения были уничтожены электромагнитным импульсом, — и запустили цепную реакцию, которую потом назовут Каскадным Эффектом. За шесть часов эта реакция превратила трёхсоттысячный город в крематорий под открытым небом. Температура в эпицентре поднималась до значений, при которых плавился не только асфальт, но и стальные конструкции. Люди умирали мгновенно — не от радиации, которая была вторичным поражающим фактором, а от самого жара, от ударной волны, от того, что воздух в их лёгких закипал раньше, чем они успевали осознать происходящее. Триста тысяч

человек. Мужчины, женщины, дети. Собаки, кошки, птицы в клетках. Рыбы в аквариумах, чья вода испарилась в первые же секунды. Целый мир, целая вселенная, сжатая до размеров одного города, — и всё это исчезло за шесть часов.

Он знал, что Арон погиб — его опознали по зубным слепкам, найденным в подвале одного из домов на восточной окраине, в двадцати километрах от эпицентра. Это было странно — как он оказался так далеко от того места, где они были в момент запуска? — но расследование списало это на панику и хаотичное перемещение толпы в первые часы после начала Катастрофы. Самого Кая спасатели нашли на седьмой день — вернее, не спасатели, а автоматический поисковый дрон, запрограммированный на обнаружение тепловых сигнатур, — в старом противорадиационном убежище под станцией метро «Центральная». Он был без сознания, с ожогами второй степени на спине и плечах и дозой облучения, которая по всем медицинским расчётам и таблицам должна была убить его в течение сорока восьми часов, максимум семидесяти двух при самом благоприятном сценарии. Но он выжил. И не просто выжил — его организм восстановился так полно и так быстро, что уже через два года медицинская комиссия признала его годным к работе в условиях повышенного радиационного фона. Врачи говорили о редкой генетической устойчивости — одна на десятки миллионов, — комиссия по расследованию называла это счастливой случайностью, сам Кай не говорил ничего, потому что сказать ему было нечего. Он не знал, почему выжил. Он не знал, что именно произошло в те последние часы. Он не знал почти ничего из того, что действительно имело значение.

И теперь, стоя на перекрёстке у мёртвого фонтана и глядя на юг, в сторону своего бывшего дома, он снова — в тысячный, наверное, раз — ощутил это глухое, ноющее, неоформленное чувство, которое не было ни любопытством, ни виной, ни скорбью, а чем-то гораздо более простым и одновременно сложным. Непониманием. Он просто не понимал, что произошло. Он не понимал, почему Арон, его лучший друг, с которым они вместе выросли, вместе учились, вместе строили планы на будущее, — почему Арон сделал то, что сделал, или почему они сделали это вместе. Он не понимал, почему он сам остался жив, а триста тысяч человек — нет. И, что самое мучительное, он не понимал, почему ему вообще важно это понимать. В конце концов, можно было просто продолжать жить. Работать чистильщиком, получать деньги, тратить их в редкие дни отдыха, состариться и умереть, так и не приблизившись к разгадке. Многие так и делали. Большинство людей на земле жили, не понимая почти ничего из того, что с ними происходило, — и ничего, прекрасно себя чувствовали. Но с Каем что-то было не так. В нём сидел какой-то червячок — не совесть, нет, и не любопытство даже, а что-то гораздо более примитивное, почти инстинктивное, как потребность в воздухе или воде, — который не давал ему забыть, не давал отпустить, не давал смириться с непониманием. Именно этот червячок, а вовсе не деньги и не профессиональный долг, пригнал его обратно в Город спустя двенадцать лет. Деньги были лишь предлогом, удобным объяснением для начальства и для самого себя.

Он оторвал взгляд от южного горизонта — бледной, размытой полосы, где руины сливались в сплошную серую массу, — и пошёл дальше. Дозиметр пищал теперь почти непрерывно, и Кай переключил его в бесшумный режим: вибрация на запястье была вполне достаточным предупреждением, а звук начинал раздражать, отвлекать, мешать сосредоточиться. Улица сужалась по мере приближения к центру — завалов становилось больше, здания стояли теснее, а некоторые участки и вовсе были полностью перекрыты обрушившимися фасадами, и приходилось искать обходные пути. В какой-то момент он упёрся в провал — то ли бывший подземный переход, то ли обрушившийся коллектор, — через который был переброшен узкий, проржавевший пешеходный мостик, каким-то чудом сохранившийся после всего. Кай оценил его надёжность быстрым взглядом профессионала: металл был тронут коррозией, но основные

несущие балки выглядели достаточно прочными. Он ступил на мостик и медленно, осторожно, распределяя вес, пошёл вперёд. Под ногами хрустело стекло — витринное, оконное, автомобильное, всё вперемешку, — перемешанное с мелкой костяной крошкой, которую он научился различать на ощупь и на слух много лет назад, ещё в первых рейдах, когда это умение казалось ему отвратительным, а потом перестало.

Перебравшись через мостик, он оказался в жилом секторе и сразу, мгновенно узнал его. Это был не его район — до его района нужно было пройти ещё полтора километра строго на юг, — но что-то в самой планировке этих улиц, в том, как покосившиеся, чудом устоявшие фонарные столбы отбрасывали резкие, графитово-чёрные тени на закопчённые кирпичные стены, в том, как располагались окна первых этажей — на уровне глаз, с широкими, сейчас зияющими пустотой проёмами, — заставило его сердце сжаться с неожиданной, почти забытой силой. Он узнал запах. Не тот запах, что окружал его сейчас, — нет, запах Зоны оставался прежним, — а другой, существовавший только в его памяти. Так пахло в детстве, когда они с Ароном жгли осенние листья в старом железном баке за гаражами: сладковатый, густой, почти осязаемый дым, смешанный с холодным октябрьским воздухом, с запахом прелой травы и сырой земли, с чем-то ещё — может быть, ожиданием, предвкушением, тем юным, безрассудным чувством, когда кажется, что вся жизнь впереди и в ней обязательно случится что-то невероятное. Это воспоминание было настолько ярким и неожиданным, что Кай буквально споткнулся на ровном месте и вынужден был остановиться, чтобы перевести дух. Он стоял посреди мёртвой улицы, глядя на остов пятиэтажки с выбитыми окнами, и видел — нет, не видел, а почти галлюцинировал, — как из этих окон идёт дым, обычный, мирный дым из печных труб, и как во дворе, у качелей, стоят двое мальчишек и о чём-то горячо, увлечённо спорят. Он тряхнул головой, зажмурился на секунду, прогоняя видение, и пошёл быстрее, почти побежал, хотя бежать в костюме чистильщика было тяжело и небезопасно — можно было оступиться, подвернуть ногу, пропорвать защитный слой о торчащую арматуру. Но он не мог больше находиться в этом месте. Оно говорило с ним на языке, который он запретил себе понимать.

К полудню, когда солнце стояло точно над головой и тени стали короткими и резкими, как лезвия, Кай достиг внешнего кольца административного центра. Здесь радиационный фон зашкаливал уже настолько, что регистратор на спине дважды уходил в аварийный режим, посылая на спутник тревожные сигналы, которые кто-то на базе, возможно, видел, но на которые никто не реагировал — так было заведено. Кай нашёл укрытие в подземном переходе, чьи бетонные стены всё ещё сохраняли остатки свинцовой облицовки — толстых, оплавленных по краям листов, на которых можно было разглядеть полустёртые надписи и чьи-то имена, нацарапанные, вероятно, теми, кто прятался здесь в первые часы после Катастрофы. Он сел на корточки, прислонившись спиной к холодному, чуть вибрирующему металлу — вибрация была, кажется, откуда-то из-под земли, но он не стал об этом думать, — закрыл глаза и принялся считать пульс. Это был старый, проверенный метод успокоения: десять ударов — вдох, десять ударов — выдох. Постепенно сердечный ритм замедлился до нормы, дыхание выровнялось, и в голове прояснилось.

Сердце билось ровно. Дыхание было спокойным. И это, как ни странно, почти раздражало его. Он помнил времена — давно, в первые годы после Катастрофы, — когда он ещё был способен на сильные эмоции. Когда вид мёртвого города вызывал у него ужас, отвращение, ярость, отчаяние. Теперь же он чувствовал только пустоту. Ровную, гладкую, как полированное стекло, пустоту, в которой изредка вспыхивали и тут же гасли короткие, слабые искры чего-то, похожего на чувства, — но даже эти искры были скорее воспоминаниями о чувствах, чем самими чувствами. Иногда ему казалось, что он должен чувствовать больше. Страх, напри-

мер, — естественный, животный страх перед смертью, которая дышала ему в затылок каждую минуту пребывания в Зоне. Или вину — вину за триста тысяч жизней, оборванных в одночасье. Или хотя бы скорбь по Арону, своему единственному другу, который однажды взял и превратил их город в пепел. Но вместо всего этого он чувствовал только пустоту — ту самую, которую люди обычно заливают алкоголем, но Кай не пил, или заглушают наркотиками, но Кай не употреблял, или разменивают на дешёвые развлечения, но Каю они были неинтересны. Пустота росла в нём с каждым годом, с каждым рейдом, с каждым новым мёртвым городом, как опухоль, невидимая ни на одном сканере, не диагностируемая ни одним прибором, но от этого не менее реальная.

Он вытащил планшет, разблокировал экран и ещё раз, уже в который раз за сегодня, изучил схему муниципалитета. Здание было спроектировано в форме подковы, открытой стороной обращённой на север, к реке — вернее, к тому, что когда-то было рекой, а теперь представляло собой цепочку радиоактивных луж вперемешку с островками спекшегося ила. Внутренний двор, по данным аэросъёмки, обрушился в подземные уровни — то ли из-за взрыва, то ли из-за проседания грунта, — и образовал гигантскую воронку, уходящую на глубину около двадцати метров. Именно там, на дне этой воронки, предположительно и находился генератор — объект «Сердце Города». Название было, разумеется, неофициальным, придуманным кем-то из первых сталкеров, но Кай находил его удивительно точным. По слухам, которые циркулировали в среде чистильщиков уже лет пять, эта установка могла вырабатывать энергию буквально из ничего — или, если быть точнее, из чего-то такого, что официальная наука не могла ни зафиксировать, ни измерить, ни тем более объяснить. Одни говорили о гравитационных аномалиях, другие — о нуль-поле, третьи — о технологии, украденной военными у кого-то, кого лучше было не называть вслух. Так или иначе, генератор, по слухам, продолжал работать даже сейчас, спустя двенадцать лет после того, как всё питание в радиусе пятидесяти километров выгорело дотла. И именно это делало его таким ценным. Государство хотело заполучить технологию — или хотя бы понять принцип её работы, — и готово было платить за это баснословные деньги. Сумма контракта, подписанного Каем неделю назад, была такова, что ему хватило бы на пять, а при разумной экономии — и на все десять лет безбедной жизни где-нибудь на материке, вдали от Зон, от пепла, от радиации, от костяной крошки под ногами и писка дозиметра в ушах.

Иногда — всё чаще в последнее время — он думал, что это и есть его настоящая цель. Не разгадка, не память, не искупление, а просто деньги. Достаточно денег, чтобы уехать и забыть. Купить домик где-нибудь в предгорьях, где воздух чист и трава имеет нормальный, природный зелёный цвет, а не этот ядовито-кислотный. Завести собаку — самую обычную, беспородную, но преданную. Вставать по утрам не от сигнала тревоги, а от солнечного света. Не проверять дозиметр перед выходом из дома. Не носить свинцовые пластины на теле. Жить, как живут нормальные люди, которые никогда не видели того, что видел он, и никогда не узнают. Эта картинка была до того притягательной, что порой Кай ловил себя на мысли: он согласился бы на этот контракт, даже если бы ему предложили в десять раз меньше. Потому что дело было не в деньгах. Дело было в том, что этот рейд — он чувствовал это каким-то глубинным, почти мистическим чутьём — должен был стать последним. Не просто очередным рейдом, а последним. Финальной точкой. Развязкой, которой у него никогда не было.

Он выбрался из убежища, чувствуя, как свинцовая облицовка перехода отпускает его, словно нехотя, — фон снаружи был втрое выше, и регистратор на спине немедленно снова запищал, — и двинулся к центральному входу в муниципалитет. То, что когда-то было парадной лестницей, широкой и помпезной, с гранитными ступенями и колоннами из полирован-

ного мрамора, теперь представляло собой хаотическое нагромождение бетонных плит, арматуры и застывшего, остекленевшего от жара пластика. Подниматься по этому месиву было невозможно, да и незачем — Кай заранее нашёл на спутниковых снимках обходной путь через пролом в восточном крыле, отмеченный на карте красным пунктиром. Он обогнул центральный вход слева, перелез через груды щебня и протиснулся в узкий, тёмный проём, который когда-то, вероятно, был окном первого этажа, а теперь зиял неровной дырой с оплавленными краями.

Внутри было темно — так темно, что фонарь на шлеме с трудом пробивал мрак на три-четыре метра вперёд, — и Кай включил его на полную мощность. Луч выхватил из темноты длинный, уходящий в перспективу коридор, пол которого был усыпан обломками мебели, обрывками бумаг, превратившихся за двенадцать лет в серую, рассыпающуюся от малейшего прикосновения труху, и — он знал это, не глядя, просто по характерным очертаниям — тем, что осталось от людей, работавших в этом здании в последний день. Он ступал осторожно, глядя под ноги и избегая смотреть на эти серо-белые, крошащиеся очертания: он видел их слишком много, тысячи и тысячи раз, чтобы каждый раз тратить на них ещё одну частицу себя. Он давно уже научился воспринимать человеческие останки просто как часть пейзажа — не более значимую, чем обломки бетона или куски арматуры, — и это умение не казалось ему ни циничным, ни аморальным. Это была простая профессиональная необходимость. Если бы он каждый раз останавливался и рефлексировал над каждым скелетом, он бы не прошёл и километра за целый день, а потом просто сошёл бы с ума. Таков был закон Зоны: либо ты черствеешь, либо ломаешься. Третьего не дано.

Коридор вёл вглубь здания, петляя и разветвляясь, и Кай тщательно сверялся с планом, чтобы не заблудиться в этом лабиринте. Некоторые помещения были полностью завалены, другие — зияли пустотой, третьи — хранили странные, почти музейные следы прошлой жизни: оплавленный телефонный аппарат на стене, застывший в вечном молчании; обугленный офисный стул, сохранивший форму, но готовый рассыпаться от одного прикосновения; настенный календарь за тот самый год, и дата на нём — та самая дата — была залита чем-то бурым, что когда-то было кровью. Кай проходил мимо всего этого, не замедляя шага. Наконец, после примерно двадцати минут блужданий, он нашёл то, что искал: лестницу, ведущую в подвал. Она была узкой, винтовой, с бетонными ступенями, покрытыми трещинами, но всё ещё державшимися — спасибо военным строителям Старого мира, которые возводили административные здания с запасом прочности, рассчитанным на ядерный удар. Перила отсутствовали — то ли сгорели, то ли были сорваны взрывной волной, — и Кай спускался, прижимаясь плечом к стене и тщательно прощупывая каждую ступень перед тем, как перенести на неё вес.

На уровне минус первого этажа он обнаружил массивную металлическую дверь с символикой муниципалитета — гербом Города, который когда-то был выгравирован на бронзовой табличке, а теперь превратился в неразборчивый, оплывший рельеф. Дверь была частично оплавлена по краям — температура здесь, по-видимому, в какой-то момент достигала колоссальных значений, — но всё ещё стояла на петлях и была закрыта. Дозиметр на запястье буквально взбесился, завибрировав с такой силой, что Кай почувствовал, как немеет кожа под манжетой. Он бросил взгляд на цифры и мысленно присвистнул: доза уже превышала допустимую для стандартной поисковой операции, но всё ещё была ниже критической, после которой начинаются гарантированные необратимые изменения в костном мозге. У него было около сорока минут. Может быть, чуть больше, если учесть его индивидуальную, аномальную устойчивость. Может быть, чуть меньше, если генератор окажется более мощным источником излучения, чем предполагалось.

Сорок минут. Он прикинул в уме: десять минут на вскрытие двери и проникновение в зал, пятнадцать — на осмотр и фиксацию объекта, пятнадцать — на отход. Впритык, но возможно. Такие расчёты он производил десятки раз, и они вошли в привычку, стали почти автоматическими, как дыхание или ходьба. Он достал раздвижной ломик из набедренного крепления, вставил его в узкую щель между дверью и косяком — щель была микроскопической, буквально в пару миллиметров, — и навалился всем весом. Мышцы на спине и плечах напряглись до предела, в глазах на мгновение вспыхнули белые искры от натуги, но дверь не поддавалась. Кай перехватил ломик поудобнее, упёрся ногами в пол и рванул ещё раз, вкладывая в рывок всю массу тела. Дверь заскрежетала — металл о металл, — и медленно, с протяжным, почти живым стоном, подалась, открывая проход. В лицо Каю ударил поток спёртого, горячего воздуха. Горячего. Это было первое, что по-настоящему, глубоко удивило его за последние несколько лет. Воздух на глубине двадцати метров, в подвале мёртвого здания, в центре мёртвого города, не должен быть горячим. Он должен быть холодным, сырым, затхлым. Но этот воздух был почти обжигающим, и от него исходил тот самый низкий, утробный гул, который он слышал — вернее, чувствовал — ещё снаружи.

Он вошёл в помещение и замер на пороге, забыв о времени, о дозиметре, о приказе. Перед ним открылся зал, размерами превосходивший все его ожидания и предположения. Высокие — метров десять, не меньше — своды уходили в темноту, и луч налобного фонаря не достигал потолка, теряясь в густом, почти осязаемом сумраке. Стены были покрыты какими-то панелями, напоминавшими одновременно металл и керамику, и эти панели слабо светились — не отражали свет фонаря, а именно светились собственным, внутренним, мертво-голубоватым светом, пульсировавшим в такт гулу. Пол был выложен крупными плитами из неизвестного материала — не бетон, не камень, не металл, а что-то среднее, гладкое и тёплое на ощупь даже сквозь подошву ботинка. Но всё это меркло, отступало на второй план по сравнению с тем, что находилось в центре зала.

На массивном постаменте, сложенном из того же светящегося материала, покоилась прозрачная сфера — около трёх метров в диаметре, идеально круглая, словно выточенная из гигантского цельного кристалла. Внутри сферы пульсировало нечто — не свет, не плазма, не какая-либо иная субстанция, известная Каю, а нечто среднее, живое и неживое одновременно, сгусток чистой, первозданной энергии, переливающейся всеми цветами спектра и несколькими сверх того. Сфера была окружена кольцами из неизвестного материала — такого же, как панели на стенах, — и эти кольца медленно, величественно вращались, создавая сложную, постоянно меняющуюся геометрическую фигуру. От установки исходило тепло — ровное, живое, почти ласковое тепло, как от тела спящего зверя или от солнца в первый день весны, — и низкое, утробное гудение, которое он почувствовал не ушами, а всем телом, каждой клеткой, каждой косточкой, как вибрацию, пронизывающую до самого нутра.

«Сердце Города» работало. Оно работало все эти двенадцать лет, пока наверху умирали трава, бетон и память. И, судя по всему, оно могло проработать ещё столько же — или ещё сто лет, или тысячу. Оно было вечным — настолько вечным, насколько вообще могут быть вечными творения человеческих рук.

Кай медленно, почти благоговейно обошёл сферу по кругу, фиксируя всё на камеру планшета. Данные уходили на спутник в реальном времени, и он знал, что где-то далеко, в чистых, стерильных, залитых неоновым светом кабинетах, люди в белых халатах и военных мундирах уже видят то же, что и он, — и, возможно, уже принимают решения, которые изменят его

жизнь или просто оборвут её, как только он выйдет из Зоны. Но сейчас это не имело значения. Он выполнил свою задачу. Он нашёл объект, подтвердил его существование, зафиксировал координаты. Теперь нужно было возвращаться — оставить радиомаяк для последующей эвакуационной команды и уходить тем же маршрутом, пока накопленная доза не перевалила критический порог. Он сделал шаг к выходу и остановился, словно налетев на невидимую стену.

Что-то было не так. Что-то в этом зале, в этом гуле, в этом тепле, в этом ритмичном, убаюкивающем свечении зацепило его глубже, чем он мог объяснить рационально. Он снова повернулся к сфере — на этот раз медленнее, почти неохотно, словно заранее зная, что то, что он увидит, ему не понравится, — и вдруг заметил то, что пропустил при первом, беглом осмотре. На постаменте, у самого основания сферы, там, где светящийся материал переходил в более тёмный, матовый слой, была выгравирована надпись. Мелкие, но чёткие, глубоко врезуемые символы. Кай наклонился, чтобы прочесть их, и почувствовал, как сердце пропустило удар — один, потом второй, а потом забилося с удвоенной, утроенной частотой, гулко отдаваясь в висках. Надпись состояла из символов, которые не мог прочесть никто, кроме него. Это был старый шифр — тот самый, который они с Ароном придумали в детстве, когда им было по десять лет, чтобы обмениваться записками, которые не мог прочесть никто из взрослых: ни учителя, ни родители, ни даже другие мальчишки из их компании. Это был их личный, тайный язык, который они совершенствовали годами, добавляя новые символы, усложняя грамматику, пока он не превратился в полноценную, хоть и примитивную, письменность. Арон называл его «аронит», Кай — «ерундой», но оба знали его в совершенстве.

И теперь, здесь, в самом сердце мёртвого города, на работающем двенадцать лет генераторе, который по всем законам физики не должен был существовать, — здесь были вырезаны слова на этом языке. Слова, от которых у Кая перехватило дыхание и по спине — несмотря на жару в зале — пробежал ледяной, колющий холод. «Кай, это был единственный выход». Почерк был ароновский — Кай узнал бы его из тысячи, из миллиона, — те же чуть неровные, торопливые линии, та же манера чуть скруглять углы символов. Арон был здесь. Арон знал об этом месте за двенадцать лет до того, как Кай вообще узнал о существовании «Сердца». Арон оставил ему послание — послание, которое ждало его все эти годы, пока он блуждал по мёртвым городам, хоронил чужие кости и пытался забыть то, чего не помнил.

Он отшатнулся от постамента, чувствуя, как дрожат руки, как луч фонаря пляшет по стенам зала, выхватывая из темноты то обломок светящейся панели, то кольцо, вращающееся вокруг сферы. В висках застучала кровь, тяжёлыми, горячими толчками, и на мгновение ему показалось, что гул сферы изменился — стал громче, ближе, осмысленнее, словно что-то внутри неё откликнулось на его присутствие, узнало его, потянулось к нему. Он попытался восстановить дыхание — десять ударов вдох, десять ударов выдох, — но воздух стал слишком горячим, слишком густым, слишком плотным, он не входил в лёгкие, а застревал где-то на полпути. Память, мёртвая все эти годы, глухо, тяжело шевельнулась где-то на самом дне сознания, как огромный, древний зверь, разбуженный неосторожным движением в глубине пещеры. Тьма провала, длиной в сутки, который он носил в себе двенадцать лет, дрогнула. По ней пошла трещина — тонкая, как волос, но уже необратимая, — и из этой трещины хлынуло что-то, чему он пока не мог подобрать названия: не воспоминание, не образ, не звук, а что-то гораздо более глубинное, эмоциональное, почти физическое. Ощущение присутствия Арона. Ощущение, что Арон стоит прямо за его спиной, как стоял когда-то в детстве, и молча смотрит на генератор.

Кай резко обернулся. За спиной никого не было — только пустой зал, уходящий в темноту, и вращающиеся кольца, и пульсирующий свет. Но ощущение не проходило. Оно усиливалось, давило на плечи, на затылок, заставляло сердце колотиться в неровном, сбивчивом ритме. Он снова повернулся к надписи, провёл по ней пальцами в перчатке — символы были глубокими, вырезанными чем-то острым, возможно, тем самым ножом, который Арон всегда носил с собой, — и попытался осмыслить прочитанное. «Это был единственный выход». Единственный выход из чего? Из ситуации, которая привела к Катастрофе? Из самой Катастрофы? Или из чего-то ещё — чего-то, о чём Кай не имел ни малейшего представления? Выход — куда? В смерть? В новую жизнь? В то состояние, в котором сейчас находился генератор, — вечное, неостановимое, бессмысленное биение в груди мёртвого города?

Он не знал. Он не знал ничего, и это незнание было мучительнее любой физической боли. Он простоял так, кажется, целую вечность, глядя на надпись и чувствуя, как секунды утекают сквозь пальцы, как накопленная доза растёт, как время, отведённое ему на этот рейд, неумолимо сокращается. Потом медленно, очень медленно, почти механически он развернулся и пошёл к выходу. Регистратор на спине пищал, не переставая, уже, наверное, несколько минут, но он только сейчас осознал это. Он знал, что должен уходить, и как можно скорее, что каждая лишняя секунда в этом зале приближает его к черте, за которой — гарантированная, мучительная смерть от лучевой болезни. Но мысли его были уже не здесь. Они были там, в прошлом, в провале длиной в сутки, который только что дал первую трещину. И он знал — не умом, а тем древним, звериным чутьём, которое не раз спасало ему жизнь в Зоне и которое никогда его не подводило, — что эта трещина будет расширяться и расти, пока не поглотит его целиком.

Он покинул зал. Металл отозвался на движение знакомым протестующим скрежетом, и дверь поддалась с трудом, будто не желая отпускать. Преодолев сопротивление механизма, он закрыл створку за спиной и начал восхождение по лестнице — туда, где существовал свет, где над мертвым горизонтом висело мертвое солнце, заливая безучастным сиянием досконально изученный, предсказуемый мир руин.

Уже на ступенях его настигло ощущение, заставившее замереть. Не иллюзия, но почти уверенность: в низком утробном гуле оставшейся за спиной сферы ему почудился звук, классифицировать который он не смог. Вдох? Выдох облегчения? Или, быть может, вдох предвкушения? Он не искал точного ответа. Не оборачиваясь, он продолжил путь, и шаги его гулким, одиноким эхом отдавались в колодце винтовой лестницы. Этот ритмичный стук походил на биение сердца, которое, вопреки физике, логике и здравому смыслу, продолжало отстукивать свой невозможный ритм.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.